

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЗБРУЧ

Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волыньск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.

Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спине уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.

Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году - на пасху.

- Уберите, - говорю я женщине. - Как вы грязно живете, хозяйева...

Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы в цирке, их шеи пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается над моим ложем.

Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном.

Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают наземь. "Зачем ты поворотил бригаду?" - кричит раненому Савицкий, начдив шесть, - и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу.

- Пане, - говорит она мне, - вы кричите со сна и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу...

Она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежите его бороде, как кусок свинца.

- Пане, - говорит еврейка и встряхивает перину, - поляки резали его, и

он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было нужно, - он кончался в этой комнате и думал обо мне... И теперь я хочу знать, - сказала вдруг женщина с ужасной силой, - я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец...

КОСТЕЛ В НОВОГРАДЕ

Я отправился вчера с докладом к военному, остановившемуся в доме бежавшего ксендза. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана.

Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, трясая внимательными сединами, подсыпала мне печенья, я наслаждался пищей иезуитов.

Старая полька называла меня "паном", у порога стояли навтыжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патер бежал, но он оставил помощника - пана Ромуальда.

Гнусавый скопец с телом исполина, Ромуальд величал нас "товарищами". Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом - пан Ромуальд, если бы он не был шпионом.

Япил с ним ром, дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксендза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О распятия, крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов!..

Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки, я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц.

Мы пили ром, дожидаясь военного, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждающие розы колышутся во тьме. Зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом. И лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь.

Вот Польша, вот надменная скорбь Речи Посполитой! Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому Начальнику Панства, Иозефу Пилсудскому.

Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе. Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!..

Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу, мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоту, у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала.

Череп, оказавшийся резьбой церковного катафалка, не пугает меня больше, и все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксендза нашли груды военного обмундирования.

Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, униженные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками, пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винченца, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином.

Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайны. Он скрывает в своих глянцеvitых стенах потайные ходы, ниши и створки, распаивающиеся бесшумно.

О глупый ксендз, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок. За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, сафьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями.

А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумье в глазах пани Элизы, громовый хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Робацким, обезумевшим звонарем.

- Прочь, - сказал я себе, - прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами...

ПИСЬМО

Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.

"Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря господу, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слышать то же самое. А также нижаяюще вам кланяюсь от бела лица до сырой земли..."

(Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу.)

"Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты - Московские Известия ЦИК, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочесть, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.

Любезная мама Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Прошу вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, прошу вас досматривайте до него и напишите мне за него - засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Прошу вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспрерывно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здесь страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.

Во-вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали, - то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены, всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря - шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы - материны дети, вы - ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя, и еще разно. Я принимал от них страдания как спаситель Иисус Христос. Только вскорости я от папаши убег и прибилсь до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться, и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы, и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет поболее Краснодара, люди в ем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеба по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и апосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича, за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежду, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать - то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было видать, и Семен

Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что сделал - нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе, в вольной одежде, так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда - она себе окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семен Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двести верст - я, брат Сенька и желающие ребята из станицы.

И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпускали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря - пришел приказ не рубать пленных, мы сами его будем судить, не сердчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

- Хорошо вам, папаша, в моих руках?

- Нет, - сказал папаша, - худо мне.

Тогда Сенька спросил:

- А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

- Нет, - сказал папаша, - худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

- А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

- Нет, - сказал папаша, - не думал я, что мне худо будет.

Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:

- А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать...

И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был посланный со двора.

Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода. Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря...

Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Mamka, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит".

Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.

- Курдюков, - спросил я мальчика, - злой у тебя был отец?

- Отец у меня был кобель, - ответил он угрюмо.

- А мать лучше?

- Мать подходящая. Если желаешь - вот наша фамилия...

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой,

недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня - чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых - Федор и Семен.

НАЧАЛЬНИК КОНЗАПАСА

На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.

Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.

Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзнуть начальству, богу и своей жалкой доле.

Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как Всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.

Так и на этот раз с мужиками.

Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать.

На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англоарабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса - краснокожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар.

- Честным стервам игуменье благословенье! - прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновенье к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками.

- Вон, товарищ начальник, - завопил мужик, хлопая себя по штанам, - вон чего ваш брат дает нашему брату... Видал, чего дают? Хозяйствуй на ей...

- А за этого коня, - раздельно и веско начал тогда Дьяков, - за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал, - это не хвакт. Ежели конь упал и подымается, то это - конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется...

- О господи, мамуня же ты моя всемилостивая! - взмахнул руками мужик. - Где ей, сироте, подняться... Она, сирота, подохнет...

- Обижаешь коня, кум, - с глубоким убеждением ответил Дьяков, - прямо-таки богохульствуешь, кум, - и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз.

- Значит, что конь, - сказал Дьяков мужику и добавил мягко: - а ты жалился, желанный друг...

Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.